

Память – внутренние глаза. Близко-близко вижу своё далёкое детство. Оно проходило в Ливнах, а это не только второй город в области после Орла, но и столица моего внутреннего мира, – начало всех начал. В Ливнах упокоились мои предки, родители, родственники. Здесь я родился за два месяца до начала войны, здесь прошли мои юные годы, здесь учился в школе, работал на заводе, – отсюда был призван в армию и сюда же вернулся на завод после демобилизации.

Боюсь пафоса и фальши слов при выражении чувств моих к малой родине, но всё же, это – любовь и кровь. Что касается Орла, в котором живу больше полувека, то здесь данные высокие слова нашли своё продолжение, – малая родина стала шире, – только и всего.

Моё детство в Ливнах имело два окраса. Один – красный, светлый, жизнеутверждающий. Другой – фуфаечный, приземлённый. Они и повлияли на всю мою дальнейшую жизнь. Иногда думаю, что всякий человек при рождении уже несёт в своей крови то, что с ним случится. От предков он своё получил, и требуется только, чтобы воспитывался он в единении с родной природой, и чтобы семья умела бы терпеливо переносить невзгоды.

Страшная беда нависла над нашей Родиной 22 июня 1941 года. Теперь это не только День скорби, но и День особой тишины в русской душе, когда она в очередной раз анализирует прошлое, ищет ответы на важнейшие вопросы текущей жизни, чтобы меньшей ценой дать отпор современным людоедам под личиной партнёров.

Мы знаем, Орёл был захвачен немцами 3 октября 1941 года. Мои родственники рассказывали: дневное небо в Ливнах всё чаще заполняли клубы чёрного дыма, а ночами оно озарялось огненными вспышками. В сторону Ельца далеко растянулись колонны беженцев, – люди тянули за собой санки с детьми и со скарбом, ехали на подводах и автомашинах. Они уходили от ужасов войны из западных районов, спасая жизни стариков и детей. Уходили по заснеженной дороге в сторону Чернаву и Казаки, – к Ельцу и Задонску. Шли голодные и холодные, над головами кружили фашистские стервятники. Самолёты со свастикой обстреливали беженцев из пулемётов, бросали бомбы, чтобы посеять панику. Красноармейские части 13-й армии, измотанные боями, отступали. Истребительный батальон, сформированный в Ливнах, был оставлен для защиты города, чтобы дать возможность регулярным

войскам закрепиться на новом рубеже. Батальон, сражаясь с превосходящим врагом, исполнил свой долг до конца, – полёг на поле боя в районе Стрелецкой слободы. 27 ноября немцы ворвались в Ливны.

Наша семья не успела эвакуироваться. Отец ушёл на фронт, мама осталась с тремя малолетними детьми: Раей, Ирой и мной – восьмимесячным, ещё не умеющим ходить. Жили мы на улице Пересыханской, рядом со Стрелецкой слободой. Мама ходила с соседками на место, где погибли бойцы истребительного батальона. Раньше всех там уже побывали шустрые подростки. Среди мёртвых тел они обнаружили тяжелораненого бойца и отнесли его в дом знакомой слобожанки, которая его и спасла. Мальчуганы откуда-то знали, что немцы, осматривая павших бойцов, добывают тяжелораненых, если таковых обнаруживают.

Стояли сильные морозы, тела долго лежали на снегу. Некоторые горожане узнавали в убитых своих мужей, родственников, знакомых. И слухи возникали разные, например, будто какая-то бабка, жившая неподалёку, рубила по ночам топором ноги убитых, обутых в валенки. Обрубки уносила домой и в горячей воде размораживала их. Мародёрские валенки сбывала на рынке. Я уже не помню уличное прозвище этой ведьмы, но об этом слышал сам спустя много лет от людей, переживших оккупацию. Знали в городе и о пленных, захваченных гитлеровцами при разных обстоятельствах. Однажды немцы свезли всех пленных в одно место – к зданию Клуба железнодорожников, территорию оградил колючей проволокой и поставили охрану. Пленные, среди которых были и раненые, сидели и стояли на снегу в галифе и гимнастёрках без ремней. На них не было тёплой одежды. Мама и соседки носили им еду. Так поступали многие горожане. Немцы не разрешали общаться с пленными. Они поставили две железные бочки у входа и разрешили горожанам кидать туда принесённые продукты, и получалось месиво, как для кормления свиней. Тогда женщины хитрили: одна отвлекала часового, а другая подныривала под проволоку и передавала пленным свёртки с едой, при этом выясняли, есть ли среди них местные и кто именно.

Пленные содержались в страшных условиях: вши ползали по их волосам и гимнастёркам, лица заросли щетиной. Спать им было не на чем. Несмотря на свой жалкий вид, они бодрелись при виде женщин, просили принести расчёски и мыло. Когда приносили, то благодарили: «Спасибо родные, верьте, мы фрицам ничего не забудем!».

В доме наших соседей Дороховых располагался немецкий штаб. Его охраняли круглосуточно часовые, которые после смены отсыпались в нашем доме. Немцы – «подселенцы» стали хозяевами дома, отведя нам место на кухне, запрещая заходить в зал. Прежде чем завалиться спать, часовые заглядывали в кастрюли на плите, приговаривая: «Матка, матка: каш-каш... яйко, яйко... брут, брут...» И тут же съедали то, что предназначалось нам. Сидя за столом, без стеснения раздевались наголо, били вшей, громко портили воздух, словно кроме них в доме никого не было. Из этих четырёх часовых, двое были немцами, один финн, и один чех. По словам мамы, вреднее всех был финн, – он просто сверкал глазами от ненависти к русским.

В доме жила и сестра моего отца – Зинаида Васильевна Болычева. Она опасалась ареста, поскольку была членом партии. Доносчиков, слава богу, не нашлось, да и захватчики недолго пробыли в городе. Кстати, её сын Володя – мой двоюродный брат, уже был ранен в бою под Коротышом – немецкая пуля на излёте раздробила ему нижнюю челюсть, выбив зубы, – в 19 лет стал инвалидом, но об этом она ещё не знала. Без надобности горожане старались не выходить на улицу, чтобы не попасть на глаза оккупантам, когда за каждое отклонение от установленных правил – расстрел.

Высокомерие быстро слетело с захватчиков в декабре, после успехов Красной армии под Москвой. Это повлияло и на часовых, они ходили понурыми, принялись показывать маме фотокарточки своих жён и детей, сожалеть о развязанной войне, называть себя «рабочими», сторонниками «Рот фронта», – мол, не по своей воле взялись за оружие. Один из них, то ли от скуки, то ли от тоски по своим малышам, пытался научить меня ходить, но время моё ещё не подошло.

Немцев выбили из Ливен 25 декабря.

Меня научили ходить зенитчики в ту же зиму, но уже 1942 года. Их батарея стояла в нашем саду, прикрывая железнодорожную станцию от налётов вражеской авиации. Гитлеровцев хотя и отбросили от города, но линия фронта находилась всего в 15-ти километрах – в районе села Речица, и весь 1942 год, а затем и в 1943 году вплоть до освобождения Орла, Ливны постоянно бомбила вражеская авиация, порой насчитывалось до 100 самолётов за один вылет, и вёлся обстрел снарядами дальнобойной артиллерии. Мама часто брала меня на руки, а за её подол хватались сестрёнки Рая и Ира, – такой кучкой мы бежали в ближайший каменный подвал.

Из-за непрерывных бомбардировок и обстрелов, горожан, и нас в их числе, эвакуировали весной 1942 года в далёкий степной городок Бузулук Семипалатинской области. Ливны надолго стали прифронтовым городом.

ЭВАКУАЦИЯ

Я помню себя рано, где-то с 2-3-х лет. Мгновенные и яркие, как вспышки молнии, в моём сознании до сих пор хранятся обрывки того далёкого прошлого, – наплывают и уплывают «картинки» минувшего бытия, выстроенные по странной логике, но все они из единого времени.

До сих пор вижу очертания полустанков, встречные эшелоны с военной техникой, попутные поезда с ранеными, и вагоны, вагоны, – бесчисленные вагоны с эстафетными перестуками буферов.

...Запомнилась перронная суматоха, – беготня женщин с чайниками, котелками в поисках воды. Вот он, – стоит чёрный паровоз, над ним огромная труба буквой «Г», из которой падает в паровозную ёмкость столб воды. Паровоз отходит, другой – на очереди, третий – совершает поворот на специальный круг возле высокой, красного кирпича, водонапорной башни. Какая-то женщина, не из нашего вагона, отстала, – бежит, догоняет состав, – вот уже радостно хватается за протянутые руки из теплушки, – её втягивают вовнутрь. Отдышавшись, она объясняет, что задержалась из-за подруги, – змея её укусила в лесопосадке, – помогала найти медпункт...

Перед вокзальным зданием на одной из останков запомнились две скульптуры.

– Кто это? – спрашиваю.

– Дедушки: Ленин и Сталин, – отвечают мне.

– Из чего сделаны? – не унимаюсь я, пропуская фамилии мимо ушей.

– Из сахара! – кто-то шутит.

Долго не могу поверить: «Неужели из сахара? Лизнуть бы...»

Когда это было, по дороге в Бузулук или при возвращении в Ливны? Не могу ответить, лишь мелькают из приоткрытых дверей теплушки все те же составы, на которых видны зачехлённые стволы пушек, силуэты танков и автомашин. И опять, ползут элеваторы, штабеля запасных рельс, горы колёсных пар и другая дорожная всячина. На одной из стоянок открылась даль – степь без единого кустика. И эти песенные слова, что звучали из вагона непередаваемой грустью:

«Степь да степь, а в степи полустанки,
повороты родимой земли,
и как птица «Прощанье славянки»,
всё летит и рыдает вдали».

Слова теперь другие, но мелодия? – ком в горле стоит, глаза увлажняются, когда теперь слышу. Больше ничего не помню в пути. Память – вещь избирательная, никогда не знаешь, почему сохранила то, а не другое.

Приехали в Бузулук. Название этого казахского городка кто-то из родственников расшифровал так: «Здесь когда-то жили татары, варили бузу, клали в неё лук – получился Бузулук». Не знаю, может так и было.

За неимением свободного жилья, нашу семью поселили в здание пожарной части. Помнится деревянная каланча с высокой лестницей. От неё каждый раз меня оттащивали, спрашивая: «Зачем тебе туда?».

– Ливны хочу видеть!

– Это далеко, – объясняли мне, – Москву показать можем...

– Показывай! – требую я.

Чьи-то руки прижимают мои уши к голове, тянут вверх, одновременно спрашивая, «вижу ли Москву?».

– Вижу! – кричу от неожиданности, лишь бы опустили на землю...

Запомнил двор госпиталя, белые халаты, костыли возле сидящих мужчин на лавочках, кровавые бинты... Рядом жаркая пыльная дорога, колонна марширующих военных в незнакомой мне форме со странными пилотками. Много лет спустя, мама пояснили: «Это были подразделения поляков, а потом чехов, они формировались в Бузулуке».

В эвакуации умерла моя шестилетняя сестра Рая. Ничем не могли помочь ей в больнице. Старый врач сказал маме: «Радуйся, если бог приберёт, а выживет – беда... Мозг повреждён менингитом». Бог и прибрал. У матери остались Ира и я. Ничего не помню я о Раечке, – ровным счётом ничего. Как же так? – пожарная каланча и прочие незначительные вещи сохранились в памяти, а родной сестрёнки места не нашлось...

В Бузулуке я приобрёл дизентерию, был на краю смерти, страшно истощал. Мама ходила в больницу в слезах, – я всё таял и таял у неё на глазах. «Забирайте домой, – был приговор врачей, – сынок ваш не жилец. Можете давать ему напоследок всё, что ни попросит». Мама забрала меня из больницы. Я лежал и умирал. Помог случай: старшая из тётушек – Александра Васильевна (старшая сестра отца) получала повышенное питание (муж её лётчик, после войны полковник авиации). По талонам ей полагались масло, колбаса, печенье и ещё что-то. Она принесла маме большой кусок сливочного масла. Увидев масло, я потянулся пальцем к нему и издал жалобно-призывной звук: «М-а-с...» Мол, хочу. Мне намазали губы, я слизал и вновь потянулся к заветному куску. Так постепенно, по мере уменьшения масла, я поправлялся, победил дизентерию, а потом возник чудо-аппетит, – ел всё подряд и быстро растолстел, получив временное прозвище «Бомбовоз».

Мама повела меня на осмотр в больницу – ту самую, где приговорили к смерти. Сбежались врачи смотреть. Долго не признавали во мне своего пациента: «Мамаша, это не тот ребёнок, – того мы хорошо помним».

Выжил я благодаря матери и тётушкам. И теперь, по истечении многих лет, только и могу, что низко-низко склонить голову к их могилам.

В эвакуации мы находились до мая 1944 года.

НА РОДНОМ ПЕПЕЛИЩЕ

Когда мы вернулись из эвакуации, в Ливнах не было ещё гражданской власти в привычном смысле этого слова, – только начала формироваться. Горожан было очень мало, и проживали они в основном на окраинах в уцелевших домах. Между тротуарными камнями щетинилась нетронутая никем трава. Не было ни кошек, ни собак, – только птицы и насекомые. На прибывших из эвакуации людей смотрел не город, а сама нежить.

Наш дом был разбит, – торчал лишь фундамент, заросший кустарником, сад почти весь вырублен. Стояла мёртвая тишина с воронками от бомб и полным одичанием округи, – ветер разносил запах тлена и гари. К центру города никто уже не ходил привычными тротуарами, – шли наикратчайшим путём, через заброшенные сады, огороды, дворы, через проломы в стенах домов, где свисали бетонные балки пролётов и металлические прутья... Война ещё шла, двигаясь всё дальше на запад. До Победы оставался ещё год.

К счастью дом Бочаровых уцелел. Он находился на другой стороне города, – в тупике Красноармейской улицы, на крутом берегу Ливенки и принадлежал Бочарову Дмитрию Григорьевичу и его жене Бочаровой Марии Васильевне – родной сестре моего отца. Они предоставили нам комнатку для проживания, и приютили других приехавших родственников с детьми за фанерной перегородкой. Наша комнатка была площадью шесть квадратных метров – на трёх! И такая же – у них.

У Бочаровых были взрослые дети: Зоя и Борис. Вскоре Борис поступил в танковое училище, а Зоя вышла замуж и уехала, но всё равно мы жили скученно почти три года. Неутраченный детский шум должно быть сильно допекал Бочаровых, но они не показывали этого, – мы жили одной дружной семьёй.

С детских лет я знал, что у дяди Мити – Дмитрия Григорьевича есть племянник – Николай Павлович Бочаров – герой Советского Союза. Он первый среди ливенцев, кто удостоился этого высокого звания, и одновременно он один из первых героев Подмосковья, кто совершил

подвиг в самое суровое время для страны, когда враг рвался к Москве. Звание героя тогда присваивалось немногим, например, за весь 1941 год этим званием награждены были только 126 человек, из них половина – лётчики.

О героическом поступке политрука Николая Бочарова писала тогда «Космомольская правда», (за 14 января 1942 года), говорили по радио, о нём знала вся страна.

Павел Григорьевич Бочаров – отец героя и дядя Митя, у которого мы проживали, – родные братья, а дети их Николай и Борис – двоюродные братья. Кем приходится мне Николай Павлович? Не знаю, некто в 4-ой степени. По линии матери Борис мне – двоюродный брат, а Николай по отношению ко мне – не кровный родственник. Считаю его просто семейно-близким человеком, и только. Видеть его мне не довелось, о подвиге его слышал с детских лет и читал о нём в подростковом возрасте. Кстати, в ливенской библиотеке хранится экземпляр книжки Николая Бочарова: «Тяжёлые испытания в первые месяцы войны» с дарственной надписью. В ней он рассказывает, как формировался его характер в довоенный период, как он участвовал в жизни рабочего коллектива, в том числе о занятии спортом. Там есть сведения о его срочной службе в армии, – танковом подразделении и участие в освободительном походе 1939 года на Западную Украину. О демобилизации и мирном труде, о начале войны. С первых месяцев её он вновь в армии. В боях с фашистами, познал горечь отступлений, дважды попадал в окружение и дважды выходил к своим войскам, не утратив воинской чести. И опять бои с превосходящими силами врага, рвущегося к Москве. Подвиг свой он совершил, являясь политруком одной из рот 185-й стрелковой дивизии. Вот что писали о нём тогда:

«Шёл 169-й день войны. Главной задачей роты было отбить у врага деревню Архангельское, которую фашисты успели превратить в сильно укрепленный опорный пункт. С первой попытки роте взять ее не удалось. Немцы встретили атакующих бойцов шквалом огня, – пришлось отступить. Не обошлось без потерь. В числе тяжелораненых оказался и командир роты старший лейтенант Толстых. Командование роты

взял на себя политрук Бочаров Николай Павлович. Поредевшая в боях рота часто бросалась на врага врукопашную, траншеи по нескольку раз переходили из рук в руки. Когда не хватало боеприпасов, бились штыками, прикладами, саперными лопатами. Однажды Бочаров схватился с дюжим немцем. В кованных сапогах, в рогатой стальной каске, с коротким автоматом и длинным ножом, он свалился в траншею и столкнулся с низкорослым политруком. Казалось, исход поединка предрешён, фашист мог только радоваться, что попался такой невзрачный на вид противник. Но в считанные секунды от острого удара сапёрной лопатой прямо в лицо, затем от сильного удара в живот гитлеровец обмяк, тяжелой тушей повалился на дно траншеи. Вот где пригодилась спортивная ловкость, мгновенная реакция, хорошо натренированные мышцы. Пример политрука вдохновил бойцов. Рота удержала рубеж. Но Архангельская всё ещё оставалась за немцами. И вот снова наступление. Подобравшись как можно ближе, солдаты ворвались в деревню. В окна домов полетели гранаты. Но вдруг откуда-то появилась пушка, возле которой суетился расчёт. Бочаров первым заметил опасность, метнул гранату и тут же с группой бойцов стал пробиваться на противоположный конец деревни, чтобы отрезать врагу отход. Рота вышла уже на западную окраину Архангельского, и тут Бочаров заметил, как фашисты выкатывают из укрытия ещё две пушки.

– Быстро к трофеейной! – скомандовал он находившимся по близости солдатам. В прошлом танкист, он быстро овладел премудростями вражеской пушки. И вот осколочные снаряды полетели в цель. Орудийные расчёты противника были уничтожены. Когда фашисты опомнились, пошли вновь в атаку, по ним ударили все три пушки. Враг отступил, на этот раз окончательно».

В представлении на звание Героя Советского Союза, подписанном командующим Калининским фронтом генерал-полковником Коневым, было сказано: «Товарищ Бочаров обратил противника в бегство, решил участь левого фланга врага и обеспечил успех 185-й стрелковой дивизии... Десятки раз в критические моменты боя

восстанавливал положение, является гордостью дивизии».

В книге Николая Бочарова содержатся подробности того боя. Решительные и смелые действия командира-политрука при взятии хорошо укрепленного пункта немцев не осталось без внимания самого командующего фронтом. Речь идёт даже не о количестве убитых и взятой техники врага одной только ротой 185-ой дивизии. Что-то резко поменялось в положительную сторону для наших войск, если Конев захотел лично увидеть героя и пожать ему руку на своём командном пункте, что он и сделал.

В дальнейшем Николай Павлович будет хорошо воевать уже танкистом на разных фронтах, окончит в войну в Берлине, станет участником парада Победы на Красной площади. Грудь его, помимо Золотой Звезды, украсят: 2 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1 степени, 2 ордена Красной Звезды, 18 медалей и 3 иностранных ордена. Он окончит академию бронетанковых войск и продолжит служить в рядах Советской армии. В звании генерал-майора уйдёт в запас, и до конца своих дней будет жить в Киеве. Там и похоронят его на воинском кладбище.

Уже в зрелом возрасте я узнал, что наш земляк-герой, получая новые самоходки в Туле, в начале октября 1943 года приезжал на три дня в Ливны. Ехал на автомобиле по маршруту «Тула – Ефремов – Ливны», потратив 10 часов на дорогу. Родной город поразил его безлюдностью и разрушениями. Встретился с отцом – Павлом Григорьевичем, который проживал тогда на улице Горького, в одном из домов, построенном для работников райкома партии, где ему, как отцу героя, выделили комнату. В это же время мы ещё находились в эвакуации. Павла Григорьевича я видел однажды, но плохо его запомнил, зато Дмитрий Григорьевич всегда стоит перед моими глазами.

Дядя Митя, как и его племянник, Николай, – замечательный человек. В начальные годы войны он возглавлял санитарный поезд – вывозил раненых с передовой. Он один из тех, кто в 1917 году видел Ленина в Петрограде на Финляндском вокзале. В Ливнах он всегда пользовался большим уважением, и его любили все

наши родственники за скромность в быту и на работе. Помню, он всегда держал в кармане кисет с самосадом, умел ловко сворачивать «козьи ножки». Из-за нехватки спичек огонь добывал с помощью кресала в виде старого напильника, высекая из кремня искры, падающие на трутеньку. Я видел, как в зимний холод он, к ужасу тётушек, топил печь толком. У него было богатое знание ужасов Гражданской войны, и участие в новом строительстве страны. Я любил слушать дядю Митю, будучи студентом. Наверное, и племянник его, Николай, тоже слушал его в свои юные довоенные годы.

Мне нравилось жить у Бочаровых. С ровесниками я бродил по окрестностям – мы устраивали «сражения с немцами», стреляя из деревянного оружия по воображаемому противнику, рубили дровяшками головы крапивам и лопухам, забираясь в гущу заброшенных окопов. Однажды я нашёл и принёс домой некую «педальку». В ней просматривались какие-то «шарики». Взав молоток, я решил добыть их, и уже взмахнул им, как вдруг подскочил двоюродный брат Борис и с криком: «Дурак, это же запал!» – вырвал находку и широко размахнувшись, зашвырнул мою находку с обрыва в Ливенку.

Война оставила много опасных предметов вокруг. В огородах можно было найти винтовочные и автоматные патроны, не говоря о пустых гильзах. С малых лет малыши и подростки безбоязненно обращались с порохом и самозабвенно стреляли из самопалов, за что расплачивались ожогами и оторванными пальцами. Из-за подростковой шалости смерть находила себе добычу, и были увечья. У одного из братьев Пеньковых, живших неподалёку от нас, взрывом выбило глаза. Помню, на берегу Ливенки, где обычно стирали тётушки бельё, долго лежал огромный неразорвавшийся снаряд немецкого дальнобойного орудия. На его корпусе женщины часто колотили вальками мокрое бельё, а ребяташки удили пескаррей. Лишь в конце сороковых годов военные спохватились – вывезли снаряд за город и обезвредили.

Постепенно я начал понимать, что происходит вокруг. Вскоре городская власть в короткий срок организовала дошкольное и школьное обучение, выделив из уцелевших зданий подходящие

помещения. Мама повела меня и сестрёнку в детсад, что стоял у моста через Ливенку, и на шалопайство времени оставалось меньше. В садике мы были под постоянным присмотром, нас кормили, но, видимо, недостаточно, если приходили домой голодные. Есть всегда хотелось.

Время от времени взрослые брали продуктовые карточки и с нами шли отовариваться в хлебный магазин на улице Дзержинского. Это был старинный одноэтажный кирпичный домик с широкими дверями и окном для выдачи товара. Магазин назывался «Инвалидским», хотя выдавал хлеб и другим категориям горожан. Хлеб выдавался по весу, он был нарезным, его взвешивался с точностью до грамма, поскольку десятки глаз следили за стрелкой весов, нарезкой и довесками. Довески мама тут же отдавала нам, и мы по дороге домой их съедали, а последние кусочки сосали, чтобы продлить удовольствие. В городе все питались плохо, если не сказать, что люди жили в полуголодном состоянии.

Постепенно жизнь в городе налаживалась, чему способствовал послевоенный базар. Он расположился под сводами разрушенного собора возле городского сада, а позднее перенесён туда, где существует и теперь – напротив автовокзала. Сюда, к центру города, через развалины и пустыри вели радиальные пути от слобод: Черкасской, Стрелецкой, Ямской, Пушкинской, Казацкой, от заливенских улиц и засосенской стороны – Беломестной.

Базар являлся самым притягательным местом всей округи. Сюда направлялись жители ближайших сёл и деревень: воротынские, барковские, успенские, крутовские, моногаровские... Люди шли пешком, нередко в лаптях, в домотканой одежде с перекинутыми через плечи холщовыми мешками, в которых стояли четвертные бутылки с молоком, кубари со сметаной, лежали, завёрнутые в тряпицы домашнее масло, творог, сало и другой продукт нелёгкого крестьянского труда. Ехали и с дальних населённых мест на подводах, запряженных тощими лошадёнками, а то и волами. Везли кур, гусей, поросят. Вели на продажу оставшихся после войны овец, коз, телят, изредка коров. В свою очередь горожане поставляли на базар свои изделия: столярные, бондарные, сапожные, слесарные, жестяные.

Местные портнихи, а ими чаще всего были вдовы, предлагали покупателям шитое-перешитое: юбки, кофточки, куртки, платья, пиджаки, брюки, и многое другое. Пользовались большим спросом керосиновые лампы и свечи, примусы, соль, мыло, спички, гвозди, – всё, что составляло первооснову человеческого быта. Визжали в мешках тупорылые поросята, гоготали гуси, кудахтали куры, блеяли овцы и козы. Базар дышал своей низменной страстью. Грязно-серая толпа копошилась и гудела. Обменивались не только товаром, но и новостями. Вздыхали, охали, проклинали войну, надеялись встать на ноги. Здесь приценились к товару, спорили, ссорились. В базарном гуде были слышны и слёзные просьбы, и смех, и тоскливые звуки гармошек, и отчаянные вопли – «держи его, держи!»...

На базаре подвыпившие инвалиды, сойдясь, делили славу, а, не поделив, дрались костылями. Летели в грязь шапки, топталась ногами подсолнечная шелуха, головки лука, позвоночники селёдок и камсы...

Я и через десятилетия запомнил одну базарную сценку, слышу пьяные голоса:

– Кому ты такое сказал, обозник паршивый, повтори! – кричит одноногий в серой фуфайке, из-под которой виднеется полинявшая гимнастёрка с медалями на груди. Левая галифе почти у ягодицы подвёрнута, перевязана бечёвкой. Он опирается на костыли, зажатые под мышками, и одной рукой тянет к себе за пустой рукав шинели толстомордого парня – безрукого, тоже в галифе и ботинках. На голове его – кавалерийская кубанка с малиновым верхом. Он зло кричит одноногую:

– Я тебе, муд...к, хоть сто раз повторю: никакой ты не лётчик! – летал на заднице в овраг, когда драпали до Ельца! Байки разводишь про авиацию...

– Ах ты, сопля желторотая!..

Взлетает костыль, толстомордый дёргается, уклоняясь от удара. Лётчик-лжелётчик, потеряв опору, падает и лёжа пытается высвободить из-под себя костыль, чтобы в ярости ткнуть им в собутыльника. Сцена эта особого любопытства не вызывает. На базаре ко всему привыкли, лишь сердобольные старушки быстро гасят конфликт – одна из них толкает в спину мордастого

парня: «Иди, иди от греха сынок»... Другая помогает встать рассвирепевшему вконец летуну, увещая его скороговоркой:

– Ты што, очумел? да разве так можно, а? да на што он тебе сдался, а?

Здесь у базара, от киоска с морсом до булочной, через Ленинскую улицу, ходил-бродил здорового роста придурок, сопровождаемый стайкой подростков, жаждущей развлечений. У булочной он бесцеремонно расталкивал очередь, сквернословил, пытаясь пробиться к прилавку. Протиснувшись, гнусаво-жалобно тянул:

– Э-э-э! хотю-ю-ю бюлочку-у-у! Дай Вани-и-и хлибца-а-а!..

Выклянчив у продавщицы булку и расправившись с ней в два счёта, он начинал выпрашивать у женщин довески хлеба. Удовлетворив свою утробу, шёл к киоску с морсом. Спектакль повторялся:

– Э-э-э! Пить хотю-ю-ю! Дай мосю Вани, мосю хотю-ю-ю!..

Продавщица возмущалась:

– Куда я тебе налью морса, куда?.. Эй, не трогай стакан, не трогай, говорю! Заразу какую ещё занесёшь... Держи ладоши ковшиком. Вот так – правильно. Пей, бедолага, и без стакана больше не приходи!..

Ваню не тронь – мухи не обидит. Но если ему грубо отказывали, злобно материл всех подряд. Тогда грозили милиционером:

– Милиционер сейчас придёт, заберёт тебя!

Ваня тотчас затихал и растворялся в толпе.

Он и на базаре кормился, но там его натиск торговли дружно отбивали. Он больше любил булочную и киоск с морсом.

Наевшись и напившись, Ваня садился на дорогу напротив булочной, расстёгивал штаны и, вынув то, чего не надо вынимать при посторонних, делал вверх фонтанчик, весело гогоча при этом. Иногда ловил струйку ртом. Такой кульминационный момент подростки всегда ждали с нетерпением. Они буквально катались от смеха, и бросали камешки, стараясь попасть в его нескромное место. Тогда Ваня вскакивал и пускался в погоню за обидчиками, путаясь в штанах. Грохался об булыжник, вызывая новую бурю восторга.

Рассказывали, что однажды он схватил кирпич и запустил его в голову какого-то подростка. Ваню после этого навсегда куда-то запрятали.

Война не только разрушила город, но и покалечила тела и души многих горожан. В мою детскую память вместились немало несчастных – от умалишённых до так называемых инвалидов-«самоваров» – живых обрубков без рук и ног. Нищих-инвалидов можно было видеть на подходах к базару, на оживлённых перекрёстках или у магазинов: слепых, глухонемых, безногих, безруких, горбатых. Они дополняли собой картину послевоенного города, словно специально собирались сюда со всей округи.

Спустя некоторое время милиция решительно поведёт борьбу с попрошайством, но это явление не сразу окончится.

Постепенно в городе налаживалась система торговли и питания. Помнится, в каждой аптеке можно было купить рыбий жир и гематоген по низким ценам. Мама время от времени жарила нам картошку на этом жире и заставляла выпивать его по столовой ложке натошак. Мы морщились и пили, порой она давала нам хлебные корочки, натёртые чесноком для укрепления наших организмов. В стране в это время не хватало самого необходимого, например, мыла. Тётушки раздобыли где-то простейший рецепт его изготовления: брали золу, каустическую соду, собачий жир и ещё какие-то компоненты. Всё это смешивалось, варилось, застывало в тазу, потом разрезалось на куски. Кустарное мыло шло главным образом на стирку белья. Мыло промышленного производства давалось по карточкам, но его не хватало, а на местных фронтах вши и блохи шли в наступление. Время от времени появлялась чесотка, от которой отбивались и дёгтем.

С 1945 года в моей голове начали складываться почти цельные картины бытия. Самая яркая – день Победы. Ливенцы ликовали, целовались и плакали, ходили в гости друг к другу до позднего вечера. Тетя Маня накрыла в саду стол для взрослых и столик с нехитрыми домашними приготовлениями для детворы. В этот день мы были сытыми, как никогда. Калитка часто скрипела: в сад приходили и уходили родственники, знакомые, соседи. Взрослые поднимали

тосты, вспоминали близких. Называли тех, кто убит, кто вернулся с фронта инвалидом, кто числится пропавшим. И говорили со вздохом, как до войны жили хорошо и город был красивым, а теперь, мол, смотрите, во что превратился?.. Что такое «до войны» я не представлял, казалось это чертой, где по одну сторону счастливая жизнь, а по другую – война и слёзы. И снова под чоканье стаканами слышался дружный возглас: «За Победу!»

Потом звучали песни. Мне нравилось, когда пели. Тётушки сплошь все голосистые, задорные. Они знали множество песен. Петь могли, например, даже когда сообща чистили ведро картошки на всех. Пели, как будто душу вкладывали, преобразаясь на глазах, и мы невольно открывали детские рты, подпевая им. Мама родилась на Украине, под Киевом, и тоже любила петь. Пела она мягко, негромко, чуть прикрыв глаза, словно настраивала себя на неспешный заоблачный лёт. Не поющих, как и непьющих родственников, я не помню – все любили петь и в меру выпить, несмотря на нелёгкие годы.

* * *

Отца демобилизовали из армии только весной 1946 года. Он приехал в Ливны вместе с шурином – Семёновым Михаилом Степановичем. Лицо мамы сияло счастьем. Раньше она говорила: «Папа воюет на фронте». И вот явился – незнакомый дядька с колючей щетиной на щеках. Прижал меня к себе – тискает, подбрасывает. Вокруг родные со слезами радости, а у меня – никаких эмоций. Видимо, отец обиделся за такое равнодушное отношение, если, тётушка Маня стала успокаивать его:

– Не обращай внимания, Леонид, он привыкнет! Вырос без тебя, а тут ты, как снег на голову...

Сестрёнка тоже сдержанно отнеслась к встрече с отцом. Искусственно изображать радость на лицах мы ещё не умели. Отцу предстояло долго и терпеливо налаживать с нами отношения. Пять лет мы росли без него. Пройдёт не один год, прежде чем мы привяжемся к нему и полюбим. Дойдёт до нас: это же счастье – иметь живого, невредимого отца. У многих детей отцы погибли, у некоторых – без вести пропали или же вернулись с войны инвалидами.

Отец участвовал в боевых действиях с начала декабря 1941 года, имел награды: орден Красной Звезды, медали «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Он – простой сержант, командир отделения связи. Приходилось ему быть миномётчиком, водителем, миномётным мастером. Ему повезло, – ни разу не был ранен, лишь контужен.

Я в подростковом возрасте расспрашивал его о войне. Отец не любил говорить о ней. «Война – глупая штука, – замечал он, – это же общение со смертью, привыкание к ней, преодоление своего эгоизма, это умение жить в коллективе, где каждый видит, чего ты стоишь. Опять же команды надо выполнять»...

Этим он «довоспитывал» меня, – расти, мол, не эгоистом, ладь с друзьями, слушайся старших.

– Ордена, медали, за что давали? – интересовался я.

– Время от времени положено их давать. Сверху виднее – кому дать, а кто подождёт. Наше дело маленькое, шагай, куда пошлют...

Отец мой рано потерял родителей, с 14 лет лудил, паял, слесарил, столярил, токарил, знал жестяное и печное дело... Всё умели его «золотые руки». Работал до войны на заводе, призывался в армию, потом опять работал на заводе. Войну встретил в зрелом, 30-летнем возрасте, членом партии, участвуя в битве под Москвой. Рабочие специальностигодились ему на фронте – одно время занимался ремонтом повреждённой в бою техники и восстановлением оружия.

Отец попадал в разные сложные обстоятельства и уцелел на войне благодаря шурина – Семёнову Михаилу Степановичу (для меня дядя Миша – второй отец). Он кадровый офицер, в армии с 1929 года. Войну встретил под Брестом. Это на редкость общительный, простой, удивительно жизнерадостный человек. Энергия из него после войны была фонтаном. К нему сразу же «прилипли» местные мальчишки, с которыми он вечерами разыгрывал «разведку» и «бесшумный проход через препятствия» в ближайший сад с целью опустошения его от яблок. Он знал к кому направлять ватагу, – хозяин сада состоял с ним в родственных отношениях и нау-

тро угощал его же яблоками, а тот уверял дядю Мишу, что таких вкусных яблок никогда не ел, и жаловался ему на местных мальчишек, залезших в сад в очередной раз. Это забавляло Михаила Степановича, в нём самом просыпался неугомонный подросток, и он любил гонять с азартом мяч по дворовой пыли, поругиваясь с незрелыми футболистами из-за пропущенных голов в свои ворота.

В доме Бочаровых с рассвета он всех будоражил и не давал унывать. Его часто узнавали в городе фронтовики – останавливали, радостно обменивались рукопожатиями, вели долгие разговоры о боевых делах. Мне казалось, что он знает всех в городе и его знают все. Оно так и было, ведь начинал службу здесь же, в воинской части, задолго до войны. Через несколько лет после Победы дядя Миша уйдёт в запас подполковником, опять вернётся в Ливны и будет трудиться на разных видных должностях. Но сейчас речь не об этом, а о его участии в судьбе моего отца.

Было так: часть, в которой служил отец, попала в окружение, вскоре у бойцов кончилось продовольствие, стали есть конину, потом варили и жевали кожаные ремни, молодые побеги, собирали в каски берёзовый сок. Шли лесами и болотами на восток, страшно исхудали, живя на «подножном корму», но всё-таки пробились к своим войскам. Вышли на полк связи, в котором служил дядя Миша. Он, просматривая списки вышедших из окружения бойцов, обратил внимание на фамилию: «Турбин Леонид Васильевич, год рождения 1910». Выяснил, откуда призывался, и сразу отпали сомнения: это брат его жены. Они встретились, отец тогда выглядел плохо: от нехватки витаминов в сумерках ничего не видел – в столовую его водили сослуживцы. Болезнь называлась «куриная слепота».

Дядя Миша добился, чтобы зарезали свинью из подсобного хозяйства, и организовал специальное питание для него – свиной печенью, богатой витамином «А». В дальнейшем не упускал из поля зрения моего отца. Вместе они дорогами войны дошли до Кенигсберга, Польши, потом их отправили на Дальний Восток для разгрома японской группировки в Манчжурии. Там они и закончили войну.

Я знаю от фронтовиков, что дядя Миша не раз лично ходил в штыковую атаку и умел шуточной так развеселить бойцов, что и потом, в мирное время, встретив его, продолжали смеяться, вспоминая былое. О наградах своих он тоже не любил говорить, если и говорил, то с особым подходом: «У меня этого добра хватает, тебе какие награды показать?» И всякий раз вместо наград вынимал коробочки с рыболовными крючками и одаривал ими меня, тут я и забывал про его награды.

Дядя Миша не раз встречался с Николаем Павловичем Бочаровым. Они друг к другу относились с большим уважением, им было о чём говорить. В последний раз они виделись, когда герой-политрук приезжал из Киева в Ливны незадолго до смерти Михаила Степановича, они долго о чём-то беседовали в доме Семёновых. Умер дядя Миша в 1985 году. Только из некролога я узнал, что за заслуги перед Родиной он был награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. На мой взгляд, биография Семёнова Михаила Степановича заслуживает внимания ливенских краеведов, он сделал немало для Родины в то трудное и великое время, да и свет памяти моей неугасим.